

П О Б Е Г

Произошло это задолго до моей эмиграции, в той еще жизни, когда я работал заведующим отделом информации «Литературки». Однажды в отдел пришел главный редактор газеты Александр Борисович Чаковский и строго-настрого велел, чтобы никто из нас раньше одиннадцати домой не уходил — ожидается сверхважный и сверхсекретный материал об одном чрезвычайном происшествии в писательской жизни. В отдел без конца заглядывали любопытные сотрудники — что, спрашивали, пришло или все еще не пришло? Материал появился уже в районе полуночи, в запечатанном сургучном пакете с надписью «Совершенно секретно» — это была полная ярости статья Бориса Полевого о побеге из СССР Анатолия Кузнецова. Не было таких бранных слов, которых не употреблял Полевой, клеймя изменника и «выродка» в нашей писательской семье. Я читал, а стоявший подле меня горбун и подхалим Леня Чернецкий комментировал. Да неправда все это — никакого Анатолия Кузнецова в природе более не существует, а существует господин Анатолий, который только что выступил по Британскому радио. Так началась компания, а которой с массой интересных подробностей пишет в предлагаемых читателю мемуарах поэт Владимир Батшев.

Самого Анатолия Кузнецова я увидел гораздо позже, уже когда порвал с прошлым и, (кажется, это было в 1974 году) приехал в Лондон, тотчас отправившись в Лондонское отделение радио «Свобода». Встретил меня мой старинный приятель, один из первых послевоенных перебежчиков, а теперь заведующий лондонским отделением «Свободы» Леня Финкельштейн. Пока мы разговаривали, из студии доносился чей-то чистый и великолепно поставленный голос. Выступавший, как мне помнится, говорил о двух системах, сравнивал две демократии Английскую и Советскую, что та и другая значит для «человека с улицы», гражданина.

Через минут двадцать из студии вышел невысокий и подслеповатый в очках человек и, подав мне руку, представился: Анатолий Кузнецов. Пока Финкельштейн рассказывал о своих последних днях перед побегом Кузнецов молчал, погруженный в свои, кажется, не слишком веселые мысли. А когда Леня кончил, как-то невесело улыбнулся и сказал: «И как ты Леня все это помнишь? Я, например, все забыл. Раньше еще сны снились, а теперь и сны не снятся». Видно, тяжело давалась ему жизнь без России, с которой он так решительно и мужественно порвал. Об этом разрыве, который всколыхнул весь мир, и пойдет рассказ в предлагаемой читателям публикации.

В.П.



Владимир БАТШЕВ

ДЕЛО АНАТОЛИЯ КУЗНЕЦОВА

Воспоминания. Документы. Признания А. Кузнецова

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

В феврале 1969 я вместе со своей тогдашней спутницей жизни Ликой арендовал раскладушку на кухне.

Кухня находилась в однокомнатной квартире недалеко от кинотеатра «Восток» возле ВДНХ в Москве.

Принадлежала она будущему букеровскому лауреату Александру Морозову.

Сам будущий лауреат писал продолжение ныне премированной книги (30 лет понадобилось автору, чтобы увидеть свой роман опубликованным).

В рукописи действовали две сестры, одна из которых умирала, а вторая, чтобы не лишиться пенсии, скрывала ее смерть, а усохший труп покойницы превращался в мумию, которая лежала на полке книжного шкафа.

Чернуха очень нравилось.

Вообще, ныне известные, благодаря Букеру «Чужие письма», тогда назывались проще и доходчивее «Сестры Карамазовы».

Это — мне лично — не казалось оригинальным. Потому что у Валерия Яковлевича Тарсиса, первого человека, лишённого в 60-х годах советского гражданства за свою литературную деятельность, был роман под названием «Мои братья Карамазовы».

Да и Достоевский не мой герой со всеми его мифическими «таинственными русскими душами».

Но не будем отвлекаться.

Итак, пришел Саша Морозов с работы. Кажется, он еще служил в каком-то издательстве — то ли в «Искусстве», то ли в «Молодой гвардии», пока его не вышибли за вольномыслие, то бишь «подписанство» — модную болезнь среди тогдашних либеральных интеллигентов.

Дай Бог, если двадцатая часть из болевших ею, стали действительными противниками режима.

Морозова среди них не было Он поболел, выздоровел и пошел своей дорогой.

Итак, Александр Морозов пришел домой и спросил меня:

— А давно ли ты, Володя, общался с советскими писателями?

На что я откровенно ответил:

— Давно, — и посмотрел выразительно.

Но будущий лауреат сел напротив и продолжил.

— Нет, знаешь, наткнулся я вчера на странного писателя... Был я в мастерской скульпторов Лемпорта и Силиса, твоих приятелей, они тебе кланялись, и там оказался советский писатель Анатолий Кузнецов. Ну, тот, что «Бабий Яр» написал...

— И «Продолжение легенды», — с иронической усмешкой добавил я.

— И «Продолжение легенды», — согласился Морозов, не реагируя на мой выпад.

— И что?

— А то. Мы разговорились, я ему про тебя рассказал, про СМОГ, он очень заинтересовался. Расспрашивал, задумывался... Что-то говорил, обещал, сейчас не помню...

Я махнул рукой, но подруга тогдашних суровых дней предложила:

— А что? А вдруг? Может, он поможет тебе опубликоваться?

Я не поверил — мне никто не мог тогда помочь опубликоваться: имя мое уже три года находилось в цензурных списках, меньше года назад я вернулся из сибирской ссылки...

— Позвони ему, мужик, кажется, неплохой, — посоветовал Морозов.

Я вздохнул и, полный скепсиса, позвонил Лемпорту.

Тот подтвердил вчерашний разговор и добавил, что Кузнецов живет в Туле, а в Москву приехал по делам и будет неделю-другую обитать в гостинице «Минск».

Я позвонил и назвался.

— А... Да, помню, — подтвердил голос на другом конце провода. — Приезжайте.

— Когда? — осмелел я.

— Да хоть сейчас!

Я повесил трубку, кивнул Лике, и мы поехали.

В четверг 24 июля 1969 года на лондонском аэродроме приземлился самолет Аэрофлота «Ильюшин-62». Среди пассажиров из него вышло двое: советский писатель Анатолий Кузнецов и англичанин Джеральд Брук. Этого последнего и поджидала армия английских журналистов и фоторепортеров.

В 1965 году Джеральд Брук был арестован в Москве при передаче советскому гражданину «антисоветской литературы», как сказано в обвинительном заключении. Обвиненный в связях с НТС (по чьему поручению он действовал) Брук был осужден и пробыл несколько лет в политическом лагере в Мордовии. В 1969 году его обменяли на советских шпионов супругов Крогеров (настоящее имя — Козн).

Выходя из самолета, Брук сказал Кузнецову: «Эта встреча не для меня, а для вас, Анатолий!» Он ошибся, но слова его оказались пророческими. Через несколько дней сенсацию обретшего свободу Брука перекрыла сенсация выбравшего свободу Кузнецова.

В понедельник 28 июля Анатолий Кузнецов вместе со своим переводчиком и охранником «профессором» МГУ Георгием Анджапаридзе в раннее послеобеденное время пошли посмотреть «стриптиз» в лондонском увеселительном квартале Сохо. После этого Кузнецов предложил своему спутнику временно разойтись, чтобы найти «де-

вочек». Анджапаридзе, не подозревавшему об истинных намерениях Кузнецова и не знавшему о том, что у того в пиджаке защиты десятки метров микрофильмов его не изданных в СССР или искалеченных цензурой произведений. Предложение показалось заманчивым и безопасным (все вещи Кузнецова оставались в отеле, к тому же он не знал ни слова по-английски!).

Неизвестно, что дальше делал Анджапаридзе, а Кузнецов прямым ходом направился в редакцию газеты «Дейли телеграф», в которой (как это знал Кузнецов по своему прошлому визиту в Англию) есть сотрудник, говорящий по-русски. Из «Дейли Телеграф» он и был отправлен на такси к этому сотруднику — Дэвиду Флойд, которому прямо сказал: «Я хочу остаться в Англии».

Во вторник, узнавшее об исчезновении Кузнецова советское посольство обратилось к английской полиции с просьбой разыскать пропавшего советского писателя Кузнецова, который мог стать жертвой уличной катастрофы из-за своей крайней близорукости. Но Кузнецов уже связался с английскими властями и вскоре получил от них право на бессрочное пребывание в Англии (а не политическое убежище, о котором Кузнецов не просил!).

Когда об этом стало известно прессе, советское посольство в Лондоне потребовало встречи, от которой Кузнецов категорически отказался. Вместо этого и вместо той работы, для которой официально он приехал на две недели в Англию, (написание юбилейного очерка о пребывании Лейна в Лондоне) он подготовил и передал прессе ряд текстов, которые нами публикуются ниже.

Комментарии зарубежной прессы

Бегство писателя Анатолия Кузнецова особенно неприятно для коммунистических властей в России, поскольку ему предшествовала следующая история. Весной этого года по Москве пошли слухи, что в составе редакции журнала «Юность» ожидаются большие перемены: оттуда должны «вылететь», по крайней мере, поэт Евгений Евтушенко и писатель Василий Аксенов. Но на соответствующие запросы иностранных корреспондентов из редакции упорно отвечали, что это — «ложные измышления».

Однако 21 июля поступил в продажу очередной, июльский номер журнала, и там, действительно, значился новый состав редакционной коллегии, где отсутствовали писатель Василий Аксенов, поэт Евгений Евтушенко, драматург Виктор Розов, а также малоизвестный Е. Вишняков на придачу. Взамен были введены четыре новых литератора: попу-

лярный писатель-прозаик Анатолий Кузнецов, потом детский писатель А. Алексин, балкарский поэт К. Кулиев и писатель В. Амлинский, которого характеризуют как «модерниста по форме и догматика по содержанию».

Назначение Анатолия Кузнецова вызвало удивление в столице: он числился скорее среди умеренно «либеральных» писателей из молодого поколения, с широким диапазоном творческих поисков, и еще совсем недавно, в начале июля, московская областная газета «Ленинское знамя» резко раскритиковала его последний роман «Огонь» (в «Юности» — 3-4 за 1969).

Теперь писатель остался за границей, чтобы получить, наконец, возможность писать свободно и полностью раскрыть свое творческое дарование. Он получил командировку для изучения эмигрантской жизни Ленина в Англии — и сам решил остаться там в качестве эмигранта. Это привело в полное замешательство чиновников режима КПСС и вызвало сенсацию в литературных кругах нашей страны. Власти молчат, а москвичи острят: «Пошел ленинским путем — в эмиграцию!»...

ЗАЯВЛЕНИЯ АНАТОЛИЯ КУЗНЕЦОВА

ОБРАЩЕНИЕ К ЛЮДЯМ

Вы скажете, что все-таки трудно понять: почему писатель, имеющий на родине миллионные издания, популярность, хорошие деньги, вдруг не хочет возвращаться в свою страну, которую к тому же любит...

Потеря надежды

Я больше не могу там жить. Это оказалось сильнее меня. Именно больше не могу. Если мне сейчас снова оказаться в СССР, я там сойду с ума.

Не будь я писатель, может, выдержал бы. Но как писатель — не могу. Писать — это единственное занятие на свете, которое серьезно мне нравится. Когда я пишу, у меня иллюзия, будто в моей жизни даже есть какой-то смысл. Не писать — это для меня примерно то же, что для рыбы не плавать. Пишу, сколько себя помню. Печатаюсь 25 лет.

За эти 25 лет ни одно мое произведение не было напечатано в СССР так, как я его написал.

Советская цензура и редакторы из политических соображений сокращают, искажают, уродуют мои произведения до полной неузнаваемости. Или вообще не разрешают печатать.

Пока я был молод, — на что-то надеялся. Каждая новая публикация для меня — не праздник, а черный день. Потому что мое произведение появляется в свет каким-то уродливым, лживым, исковерканным, и мне стыдно смотреть людям в глаза. В СССР написать хорошую книгу — это еще самое простое. Главное мучение начинается потом, когда вы захотите ее напечатать.

Последние 10 лет я живу в непрерывном, безысходном, беспросветном противоречии. Опустились руки. Последний роман «Огонь» я писал с душой окаменевшей, без веры, без надежды. Я уже уверенно наперед знал, что даже если его и напечатают, то все человеческое беспощадно вырежут, в лучшем случае будет опубликована еще одна «идейная» мерзость (так и вышло, между прочим).

Я дошел до точки, когда больше писать не могу, спать не могу, дышать не могу...

Трагедия русских писателей

В литературе ценно то, что ново, что несет в себе художественное открытие. Писатель — прежде всего художник, пытающийся проникнуть в нечто неизведанное. Он должен быть честным, объективным и творить свободно. Это все — аксиомы.

Так вот именно эти вещи писателю в СССР запрещены.

Свобода творчества в СССР сведена к «свободе» славить советскую власть, партию и призывать к коммунизму. Теоретическое обоснование — шестидесятилетней давности статья Ленина «Партийная организация и партийная литература», в соответствии с которой писатель — это партийный пропагандист. Он должен получать от партии лозунги, указания — и пропагандировать их.

Таким образом писатель в СССР поставлен перед выбором:

а) Подчиниться этому идиотизму. Спрятать мысли и совесть в карман. Если правит Сталин, — славить Сталина. Велят сажать кукурузу, — пиши о кукурузе. Разобла-

чают Сталина, — разоблачай. Перестали разоблачать, — перестань.

Много, много советских «писателей» именно таковы. Но жизнь не прощает насилия над совестью. Все они настолько циники и духовные уроды, а подспудная тоска по загубленному таланту так их корежит, что подлое существование их — не жизнь а скорее карикатура на жизнь. Пожалуй, трудно придумать самому себе худшее наказание: всю жизнь дрожать, юлить, жадно ловить указания, бояться ошибиться. О Боже!..

б) Писать по-настоящему, как велят талант и совесть.

Тогда сто против одного, что это не будет опубликовано. Это будет погребено. Может послужить причиной физической гибели.

Печально думать: на этот счет в России — давние и прочные «традиции». Лучших русских писателей всегда травили, судили, убивали, доводили до самоубийства.

в) Попытаться творить «сколько возможно» честно. На неопасные темы. Иносказательно, находить щели в цензуре. Пускать свои произведения по рукам в рукописях (но не антисоветские, иначе арестуют!). Делать хоть что-нибудь! Этаким полувыход.

Я был среди тех, кто выбрал этот третий путь. Но мне не повезло. Цензура меня ставила на колени всегда. Отчаянное желание спасти хоть что-нибудь в своем творении, чтобы оно дошло до людей, привело лишь к тому, что все мои опубликованные произведения — это и не литература, и не подлость, а черт знает что. Какой-то немислимый плод сделки цензуры с авторской совестью.

Сколько я кричал, пытался что-то доказывать, но это все равно, что биться головой о стену. Литературой в СССР командуют люди невежественные, циничные, от самой литературы далекие, зато отлично знающие последние указания сверху и партийные догмы.

Пробиться сквозь их строй я не смог. Чуть-чуть удавалось Евтушенко, немного Солженицыну, но и это уже в прошлом. Щели были замечены и зацементированы. А русские писатели все пишут, на что-то надеются. Это кошмар.

Моя мания

Так четверть века я мечтал о невысказанном для советского писателя счастье: писать и публиковать художественные произведения вольно, безбоязненно. Не «наступать на горло собственной песне». Не думать о партийных указаниях, казенных редакторах и политических цензорах. Не вздрагивать при каждом стуке в дверь. Не зарывать рукописи в землю, едва лишь просохнут чернила.

О, сколько ямок я ископал, зарывая стеклянные банки с «опасными» и «сомнительными» рукописями. Я не мог их держать в столе, потому что в любое мое отсутствие квартира могла быть вскрыта и обыскана, а рукописи конфискованы, как это случилось с Солженицыным и многими другими.

Мой письменный стол был вообще без ящиков. Ящиками и надежным сейфом служила мне русская земля.

Моей подлинной манией стало увидеть мои книги опубликованными в том виде, в каком я их написал. Увидеть — и после этого хоть и убейте меня. Да, да, в этом отношении я стал болен, я маньяк.

Отказываюсь

Мальчиком я видел, как горели в России книги в 1937 году, при Сталине. Видел, как горели книги в 1942 году, в оккупированном Киеве, при Гитлере. Богу было угодно, чтобы при жизни мне довелось знать, как горят мои собственные книги. Потому что после того, как я сейчас ушел из СССР, конечно, мои книги там будут уничтожены.

Там постоянно уничтожают какие-нибудь книги, почему бы моим составить исключение? А я молюсь, чтобы мои издания были уничтожены все до последнего. Раз это не то, что я действительно писал и хотел донести до людей, значит, это ведь не мои книги! Я сам отказываюсь от них.

Вот:

Публично и навсегда отказываюсь от всего, что под фамилией «Кузнецов» было опубликовано в СССР или вышло в переводах с советских изданий в других странах мира.

Ответственно заявляю, что Кузнецов — нечестный, конформистский, трусливый автор. Отказываюсь от этой фамилии.

Я хочу быть, наконец, честным человеком и честным писателем. Все опубликованные после сего дня произведения буду подписывать именем А. Анатолий. Только их прошу считать моими.

На что надеюсь!

В последние годы, крепко запершись, тайно я изредка позволял себе пир: писал то, что хотел. Это было жутко и необычно. Это как если бы в мире, где все ходят на четвереньках, кто-нибудь, запершись в подвале, выпрямился и встал на ноги.

Затем, несколько месяцев я выкапывал из земли рукописи, переснимал их на пленку — и снова зарывал. Мне удалось перевезти через границу эти пленки, тысячи переснятых страниц, все, что я написал за свою жизнь. Здесь и известные мои вещи, например, «Бабий Яр», но только в истинном его виде. Здесь и такое, что в России опубликовано быть не могло. И такое, что вряд ли я смогу опубликовать его и на Западе.

Но теперь у меня есть хотя бы надежда. Хотя бы... Во всяком случае, это произведения не Кузнецова, а совершенно иного писателя. Не советского, не западного не красного, не белого, но — просто писателя, живущего в XX веке на Земле. К тому же предпринявшего отчаянную попытку быть в этот век честным, присоединяющегося к тем, кто борется за человечность в сегодняшней дикой, дикой, дикой жизни этого безумного, безумного мира.

Ваш
А. АНАТОЛЬ

В Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза

Заявление

После серьезных раздумий в течение многих лет я пришел к окончательному отрицанию марксизма-ленинизма.

Сегодня я считаю, что это учение является чрезвычайно устарелым, закостеневшим и наивным. Оно ни в коей мере не может разрешить противоречия в современном обществе, хуже того: приводило, приводит и в еще большей мере грозит привести к ужасающим общественным трагедиям.

Я не могу больше оставаться членом Коммунистической партии, руководствующейся этим учением. Прошу исключить меня из членов КПСС.

Слагаю с себя обязанности заместителя партийного секретаря писательской организации Тульской области; мой партбилет я оставил там.

Кузнецов Анатолий Васильевич,
член КПСС с 1955 года.

1 августа 1969 года, Лондон

Письмо советскому правительству

Я остаюсь в Англии, чтобы свободно заниматься тем, что есть суть моей жизни, — литературой. Это решение я принял давно, хорошо его обдумал и готовился год.

Об этом никто не знал, кроме меня одного. Условия тотального стукачества и лицемерия в СССР не позволяют рисковать, доверяя подобную тайну хотя бы единому человеку. Мне, к тому же, дважды было отказано в выезде. Я понимал, что третий отказ будет означать запрещение выезжать насовсем. Поэтому параллельно начал готовиться переплыть морскую границу под водой.

Должен об этом говорить, чтобы стало ясно, насколько все это серьезно и что сообщников у меня не было и быть не могло.

Прошу советское правительство не мучить мою мать, моих сына, жену и личного секретаря. Им и без того сейчас плохо, а будет еще хуже, потому что мой заработок был их источником существования. Прошу не конфисковывать у них вещи, не отбирать жилища. Клянусь: они ничего не знали.

Советскому посольству в Лондоне я заявил, что не имею никакого желания встречаться с кем-либо из советских официальных лиц. И прошу вас отдать распоряжение посольству оставить меня в покое.

Сугубо лично, для себя, я решил: если вообще когда-нибудь смогу говорить с советскими официальными лицами или подать им руку, то не раньше, чем СССР предоставит Чехословакии полную свободу и уберет из нее войска навсегда.

Если у каких-либо организаций в СССР имеются ко мне финансовые претензии по контрактам, я обязуюсь их погасить в течение года по предоставлении счетов.

Я также приношу извинения за обман, к которому должен был прибегать, чтобы получить разрешение на выезд. Это был вынужденный обман. Вы сами создали условия, при которых даже уехать из страны невозможно без лицемерия.

АНАТОЛИЙ КУЗНЕЦОВ

1 августа 1969 года

Из воспоминаний

Мы ели салат из различных морских гадов. Огромная тарелка стояла перед нами. На дне ее виднелся из-под акульных плавников и соевых отростков какой-то китайский иероглиф и соответствующий ему рисунок. Но вокруг не было ни одного китайца, несмотря на то, что мы сидели в «Пекине».

— И как же вы не боялись?

— Чего не боялись? — не понял я, прервав еду и, вспомнив свой рассказ на улице.

Пока мы шли от гостиницы до ресторана, я рассказывал Кузнецову про литературное общество СМОГ. За общество меня и посадили в апреле 1966 года. Только в прошлом году с помощью мощной западной компании в мою защиту, меня освободили по амнистии.

— Ну, вообще, — сделал он неопределенный жест.

Я пожал плечами — говорить об этом в ресторане не хотелось и он понял.

— А как ваша жизнь?..

— Что? — снова не понял я.

— Сейчас... Как вы живете, Володя?

— Живу я хорошо, — усмехнулся я, вспомнив участкового милиционера, который требовал от меня предъявить

справку с места работы (в противном случае он грозился отправить меня туда, откуда я год назад вернулся).

Кузнецов тоже усмехнулся.

— У меня к вам есть предложение...

Надя дернула его за рукав.

— Слушай, ну, что мы такое едим? Я не наелась. Ты наелась? — уперлась она взглядом в Лику. — Нет, и она не наелась.

— Чего же ты хочешь?

— Картошечки!

Пресса тех дней

«Дейли телеграф», 30.7.69.

«Бочкообразный мистер Анджапаридзе зажег русскую папиросу и сказал: Единственное, что мне приходит в голову, это, что он погиб, даже, что его убили... Смехотворно предполагать, что он дезертировал и ищет политического убежища в Англии. Ему этого не нужно. Он — широко известный и широко читаемый в России автор. Я убежден, что он захочет вернуться домой. Он русский, а мы любим свою страну».

«Дейли мейл», 31.7.69

«Кузнецов сел в такси, чтобы направиться в один дом в пригороде, куда он прибыл в понедельник поздно вечером. Он был напряжен, возбужден и в приподнятом настроении, вкусив впервые западную свободу... Его предупредили об опасностях, которые подстерегают невозвращенцев, и о житейских трудностях, обычных для русских эмигрантов, но он был непоколебим в своем намерении остаться в Великобритании».

«Дейли телеграф», 31.7.69

«Ему сказали, что жизнь эмигранта не легка. Он возразил, что ничто не может его убедить вернуться в Россию, где невысказано творить писателю...»

На вопрос о других русских писателях он ответил, что в Советском Союзе есть только один писатель, и это — Солженицын. Все остальные пишут лишь то, что им позволено, и обходят молчанием все то, что запрещено».

В тот же день другой корреспондент газеты встречается со злополучным переводчиком.

«Он пригласил меня в здание посольства, и мы вошли в обширную комнату без мебели. Мы стояли около пустого камина и вели разговор, в котором вскоре принял

участие подошедший к нам русский, почти не знающий английского языка. Мистер Анджапаридзе сказал по кузнецовскому делу «Теперь он кончен как автор. Быть может, он напишет еще одну книгу, в которой будет сказано, что СССР — ужасная страна. Но кто такую книгу будет читать? И что он напишет потому Ничего»...

Официальные реакции

«Дейли миррор», 31.7.69

«Министр внутренних дел ответил положительно на просьбу Кузнецова — остаться в Англии на неопределенное время... Быстрота решения показывает, насколько это дело важно... Министерство внутренних дел оповестило об этом решении советское посольство».

«Таймс», 31.7.69

«Советский посол, мистер Н. Смирновский, был недоустроен сегодня вечером для тех, кто ждал комментарий по поводу разрешения, данного Анатолию Кузнецову, остаться в Англии. Секретарь посольства заявил, что посла нельзя встретить ранее завтрашнего дня. Другие чины посольства комментировать отказались».

В министерстве внутренних дел было заявлено, что адрес Кузнецова будет временно храниться в тайне. Он не подвергается никаким ограничениям. Он — свободный человек».

«Дейли телеграф», 2.8.69

«Разгневанный посол встретил мистера Стюарта... Встреча, наспех организованная по просьбе посла, показывает, насколько большое значение придается этому делу в Москве...»

Ожидается, что русские будут продолжать оказывать максимальное давление на Кузнецова для того, чтобы он изменил свое решение и возвратился в Москву. Хотя весьма маловероятно, что он согласится встретиться с советскими официальными лицами, министерство внутренних дел желает этого, дабы было доказано, что его не задерживают в этой стране против его воли».

«Санди телеграф», 3.8.1969

«Дело Кузнецова, приведшее русских в такое бешенство, ставит Форин офис в затруднительное положение. Мистер Стюарт заявил на прошлой неделе, говоря об обмене Брука на Крогеров, что он надеется на улучшение в англо-русских отношениях... Но тот самый самолет, который привез в Лондон Брука, привез и Кузнецо-

ва, задумавшего избрать свободу. Это событие весьма расстроило русских и поэтому явится помехой какому-либо улучшению англо-русских отношений...

Русским дипломатам не легко бывает оправдаться перед их московскими хозяевами. Гнев мистера Смирновского этим и объясняется, а также тем фактом, что его доверенный человек не сумел воспрепятствовать.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Я приезжал к нему в Тулу в пятницу, а в воскресенье вечером уезжал.

Я стал привыкать к такому образу жизни, тем более, что справка о моем секретариате у известного писателя надежно предохраняла от посягательств милиции на мою свободу. Второй раз в Сибирь не хотелось (впрочем, как и в первый).

Сначала он давал мне поручения, которые я должен был выполнить в Москве — сходить в редакцию, в издательство, в Литфонд, позвонить тому, позвонить этому, отвезти заявку на киностудию, забрать пьесу из театра, купить то-то и то-то и множество иных мелких дел, которые надо выполнить человеку, живущему вне столицы.

Мой скепсис по отношению к нему развеивался, а приятельские отношения располагали к откровенности. Впрочем, он был откровенен до известного предела.

Мы пили черный кофе, который он варил в кастрюле. Очень крепкий.

Кофе ему тоже привозил я.

Я, вообще, удивлялся некоторым способностям Кузнецова: пить много черного кофе и пить алкоголь и при этом замыкаться. Он становился замкнутым все более и более с каждой очередной рюмкой. Требовал беседы, но оставался слушателем.

Очень внимательным слушателем.

В коридоре стоял стеллаж из светлых оструганных досок. На нем рядами стояли пачки с кофе и пачки папирос «Прибой», «Байкал», «Лайнер». Их я тоже привозил — однажды целую коробку. Не было в Туле, что ли своих?

Он — на мое удивление — курил эти крепкие дешевые папиросы.

Гнев и восторг по поводу закопанных рукописей

Особую прыть в очернительном действе проявил редактор журнала «Юность» Полевой, подгоняемый немалым страхом. Ведь он только что принял А. Кузнецова в редколлегиям журнала, устроил ему поездку за границу, — Полевому могло изрядно влететь от меценатов из КГБ.

Полевой в «Литературной газете» (от 6.8.1969 г. возмущался коварством А. Кузнецова, который определенную сторону своего облика «тщательно скрывал не только от своих читателей, но и от своих знакомых и близких».

Сообщив затем обо всех уловках, к которым непонятно почему прибег А. Кузнецов, чтобы выехать за границу — ведь всем известно, что «советских писатели свободно путешествуют по всему миру», — Полевой перешел к заявлению А. Кузнецова о том что он прятал свои рукописи в банках в земле. Такого при свободе, царящей в СССР, быть не может уверяет Полевой, «прятать свои произведения, закапывая их в землю, может разве сумасшедший».

Однако, по странному стечению обстоятельств, советская печать уже однажды сообщала как о факте причем как о факте положительном, что А. Кузнецов прятал свои рукописи, закапывая их в землю. Потому что это было в Киеве во время немецкой оккупации. Вот что об этом сообщал журнал «Культура и жизнь» № 10 за октябрь 1960 г. в статье «История одной хорошей книги» (по поводу выхода книги А. Кузнецова «Продолжение легенды»): «Ненависть к оккупантам переполняет детское сердце. Вечерами, когда мать ложилась спать, Толя вырывает из старых тетрадей листки и пишет... Исписанные листки Толя зарывал в землю в сарае...»

Статья была хвалебным гимном «Продолжению легенды», успех которой объяснялся, кроме всего прочего, и биографией А. Кузнецова, «...во многом схожей с биографией того поколения советской молодежи, которое в самые тяжелые годы послевоенного восстановления сидело за школьной партией, а позже, в начале 50-х годов, отправилось на строительство новых городов, гидростанций, участвовало в освоении целины...»

«Культура и жизнь» сообщала о том, как А. Кузнецов сумел «поэтично и правдиво рассказать о шоферах и бетонщиках, о трудностях, которые приходилось преодолевать молодым покорителям Сибири», о том, как он в ранней молодости уже «оставляет позади себя опытных писателей». Говорилось так и как А. Кузнецову «попалась на глаза» книга выпущенная в Лионе, в которой он узнал «сокращенный и фальсифицированный перевод его

«Продолжения легенды» (сегодня мы знаем от А. Кузнецова, что книгу прислал в СССР Арагон и что переводчик, руководствуясь правильным инстинктом, сократил как раз места, вставленные цензурой.

«Для произведений Кузнецова характерно плавное повествование и покоряющая человечность» - сообщала своим читателям «Культура и жизнь». Сегодня «Литературная газета» сравнивает его то с героем гоголевских «Записок сумасшедшего», то с Иудой, пророча ему петлю и осиноый сук. Типичный случай готентотско-коммунистической морали.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Мы шли по Ясной Поляне.

Прошлогдние листья шуршали под ногами. Он прислонился к дереву и ткнул пальцем куда-то вперед.

— Там, — сказал он и глаза его блеснули за очками, — там я закопал «Тейч файф».

Когда мы вернулись, он ушел в кабинет, что-то двигал, искал, наконец вернулся с какими-то листами.

— На, читай.

— Вслух?

Он огляделся по сторонам, словно опасаясь подслушки. Хотя мы с ним тщательно осмотрели квартиру и в телефоне диск всегда был прижат спичкой...

— Давай.

— «Ведьм вывели на площадь. Оберштурмбанфюрер — член Политбюро взобрался на трибуну. — На кол их! Пиздой на кол! — заревел он. В ответ заревела толпа».

РЕАКЦИЯ ПИСАТЕЛЕЙ

«Таймс», 6.8.69

Грэм Грин, один из самых известных писателей Запада, обратился в редакцию этой газеты с письмом, вызвавшим широкий отклик. Он написал:

«С момента бегства Кузнецова для меня, как и для многих английских писателей, чьи книги, как и мои, регулярно печатаются в СССР, настал наконец момент перелома... Нам оказывали предпочтение (подкуп, как могли бы выразиться наши враги) потому, что, не в пример советским писателям, наши книги печатались без изменений. Нами пользовались, дабы создать впечатление культурной свободы, неправда, мол, что печатают только

Диккенса, вот появляются книги Сноу, Голсуорси, Мардока и даже римско-католического Грина.

Я призываю всех своих собратьев-писателей не разрешать печатать ни одной нашей книги в СССР, пока творения Солженицына будут под запретом, а Даниэль и Синявский будут оставаться в концлагере».

«Гардиан», 7.8.69

«Дж. Б. Пристли заявил, что он полностью разделяет точку зрения Грина «Но, согласно моему опыту, русские никогда не спрашивают у авторов разрешения... Если бы русские обратились ко мне за разрешением, я бы им отказал».

Джон Брейн отметил, что он не видит вреда в инициативе Грина, но что она не даст никаких результатов. Вместо этого он призвал своих коллег писателей воздерживаться отныне от поездок в Советский Союз, никогда больше не присутствовать на представлениях Большого театра, прервать всякие культурные и личные связи с советской стороной до освобождения находящихся в заключении советских писателей.

В заключение он заявил: «Когда я окидываю взглядом историю СССР и вижу погибших русских писателей, то я удивляюсь, что Грин только теперь очнулся и понял обстановку».

«Таймс», 8.8.69

Дональд Гульд пишет «Положение таково, что русские печатают и будут печатать по своему выбору любые книги — с позволения или без позволения их авторов. Чего могут добиться Грэм Грин и его коллеги-единомышленники? Только того, что они будут лишены тех авторских гонораров, которые депонируют на их имя в русском банке. Было бы, может, благоразумнее, если бы они продолжали накапливать рубли в надежде, что рано или поздно эти деньги смогут быть использованы для помощи советским коллегам, подвергающимся гонениям».

Госпожа Эдит Лэйкман: «Одна из моих книг была там напечатана, но я узнала об этом совсем случайно. Не было испрошено согласия, не было сообщено о выходе книги не был заплачен гонорар и не был прислан мне экземпляр русского издания. И вероятно, много авторов находится в том же положении».

«Дейли телеграф», 13.8.69

«Артур Миллер, председатель международного ПЭН-клуба, решил организовать широкую дискуссию касательно положения в России на предстоящем совещании этой организации. Его к тому побудило бегство Анатолия Кузнецова. Тема будет обсуждена 700 писателями из 50 стран, которые соберутся в следующем месяце в Ментоне, во Франции».

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

...протянул пакет из желто-коричневой крафт-бумаги. В такую бумагу на почте заворачивали бандероли.

— А это коробка конфет — маме передашь. Адрес запиши. Я записал.

— Записал.

— Ты надолго в Киев?

— Недели на две, на три...

Не мог же я ему сказать, что решил новый самиздатовский литературный журнал «Перелом», что привлек к своей затее Кононенко, который с частью материалов уже уехал, а остальные рукописи должен привезти я. Не мог рассказать, что делать новый журнал в Москве не хотелось по целому ряду причин.

В Киеве же изготовить его и размножить было проще и безопаснее.

Кузнецов смотрел на меня, словно чего-то ждал.

— А ты надолго? — лишний раз уточнил я, хотя знал, что тоже недели на две.

— Ты же знаешь — на пару недель, на более длительный срок не отпустили, — он повел плечом, словно поясняя — ты же все понимаешь.

— Ладно, — ничего не подозревая, закончил я разговор.

— Маме твоей конфеты передам, Киеву от твоего имени поклонюсь...

Он поморщился.

— Хорошо, не буду кланяться! — засмеялся я и взялся за ручку двери. — Пока!

Он обнял меня и подмигнул, подталкивая к двери.

Права пословица — бойся гостя стоячего.

Повествование А. Кузнецова

После перехода на положение эмигранта Анатолий Кузнецов сделал несколько заявлений и выступил в английской печати с двумя большими статьями.

«Санди телеграф» (3.8.1969), сообщая об этом, пишет:

«Анатолий Кузнецов выступил вчера со своими первыми публичными заявлениями. Он отрекся от всего того, что было напечатано под его фамилией. Он сказал «Куз-

нецов был нечестным, приспособляющимся, малодушным автором».

За 25 лет ни одна из его литературных работ не была напечатана в СССР в том виде, в каком он ее написал, — говорит А. Кузнецов. Он утверждает, что свобода искусства в СССР сведена к «свободе» восхвалять советскую систему и компартию и призывать народ бороться за коммунизм.

Произведения, в которых он свободно выражал свои мысли, он прятал. «О, сколько я выкопал ямок в земле, чтобы запрятать мои банки от варенья, наполненные «опасными» или «сомнительными» рукописями», — пишет А. Кузнецов.

Парижская «Монд» (7.7.1969) сообщает, что А. Кузнецов, в свое время судившийся с издателем французского перевода повести «Продолжение легенды», теперь обратился с просьбой к французскому министру юстиции Рене Плевену, прося назначить новое разбирательство этого дела. Кузнецов объясняет, что подать жалобу на французского издателя он был вынужден советскими властями, против своей воли и вопреки своим убеждениям... Он заявил, что готов приехать во Францию для дачи показаний французскому суду. Места из повести, выброшенные французским переводчиком, говорит он, в большинстве случаев были действительно чужеродными, вставленными цензурой.

Газета «Дейли телеграф» (7.8.1969) печатает первую в западном мире статью Кузнецова «Моя первая встреча с советской цензурой».

Издательству «Юность» очень понравилась повесть «Продолжение легенды» — рассказывает писатель. Но не может быть и речи о том, сказали ему, чтобы опубликовать ее. Однако через некоторое время, раскрыв экземпляр «Юности», он увидел, что его повесть напечатана. «Я тут же ее прочитал и от того, что я прочел, мои волосы встали дыбом — говорит А. Кузнецов. — Повести теперь был придан идеологически-оптимистический тон, такой, что дальше и идти некуда. Я помню как у меня на глазах появились слезы, вызванные гневом и крушением моих планов».

Однако повесть «Продолжение легенды» даже и в таком виде понравилась советским и иностранным читателям. Она была особенно популярна в Чехословакии, где ее переиздали пять или шесть раз...

Далее А. Кузнецов рассказывает историю с французским переводом этой повести и о том, как Луи Арагон прислал из Франции экземпляр «антисоветской книги»,

озаглавленный «Звезда в тумане», которая оказалась переводом повести.

А. Кузнецову по этому делу были учинены допросы в иностранной комиссии Союза писателей, его немедленно заставили написать жалобу на французского издателя, разъяснив, что «Арагон ее напечатает в своем журнале «Летр франсэз». Он хочет, чтобы вы обратились с жалобой во Французский суд. Быть может, окажется возможным преследовать издателя».

«Я ясно отдавал себе отчет в том, что произошло, — говорит А. Кузнецов. Переводчик, отец Шалей, просто счел ненужным переводить те оптимистические главы, которые были вставлены в повесть помимо меня. Он их кратко резюмировал, пояснив, что они более низкого качества, чем остальные. Он меня вполне точно понял... Искажение моей книги было совершено в России, а я был принужден заявить, что искажением явился перевод, сделанный аббатом Шалей. Мой протест появился в «Литературной газете» в России и в «Летр франсэз» во Франции, а также был воспроизведен в ряде газет».

Однажды А. Кузнецов был вызван иностранной комиссией союза писателей и оказался в ресторане в компании французов. Французы не обращали на него никакого внимания. Он не мог понять, почему его вызвали, но его сосед сказал ему по-русски: почему вы держите себя так невоспитанно и сидите не раскрывая рта? Это ваш адвокат из Парижа, поэтому скажите хоть что-нибудь! Адвокат, господин Амбрэ, поговорил с А. Кузнецовым минут десять, а затем отправился осматривать Москву.

О суде над аббатом Шалей и о приговоре А. Кузнецов узнал лишь из газет. «Я никогда не получил текста приговора, как и той тысячи франков, которая была мне присуждена... Я до сих пор не знаю, кто организовал весь этот процесс, — говорит он.

— Луи Арагон? Но его имя не упоминалось в газетах... Во всяком случае, после этого дела меня включили в состав делегации, ехавшей в Париж по случаю открытия советской выставки. В Париже меня сразу повели к Луи Арагону. Но он мало обратил на меня внимания и уклонился от разговора по этому делу. Выйдя от него, я спросил у прохожего, где находится министерство юстиции. Я подошел к этому зданию, постоял там несколько минут и с содроганием сердца спросил самого себя: войду ли я? скажу ли я им все?»

Копию этой статьи А. Кузнецов приложил к письму, направленному французскому министру юстиции.

Газета «Санди телеграф» (10.8.1969) опубликовала статью А. Кузнецова, озаглавленную «Русские писатели и тайная полиция». А. Кузнецов пишет, что не знает ни одного писателя в России, который так или иначе не имел бы дела с КГБ. Это выражается в трех различных вариантах.

Первый вариант: вы с энтузиазмом сотрудничаете с КГБ. Таким образом вы имеете все данные преуспевать.

Второй вариант: вы исполняете ваш долг по отношению к КГБ, но вы отказываетесь непосредственно сотрудничать. Таким образом вы лишаетесь многого, в частности перспектив на поездки за границу.

Третий вариант. Вы отбрасываете все предложения, исходящие от КГБ, и входите в прямой конфликт с ним. Вследствие этого ваши литературные труды не печатают и вы даже можете очутиться в концлагере.

Далее А. Кузнецов рассказывает, как перед его первой за всю жизнь поездкой за границу, в Париж, в августе 1961 года, к нему явились агенты КГБ и заставили, под угрозой отмены его поездки, наблюдать за другими литераторами, его спутниками.

Главным «оком» КГБ в этой группе был один московский редактор.

«Но я заметил, — говорит А. Кузнецов, — что некоторые другие писатели тоже явно были заняты слежкой, особенно некий Сытин, который теперь занимает одно из ключевых мест в советском кинематографическом мире. Из пятнадцати членов делегации один принадлежал к Интуристу, один был «ответственным товарищем» и по меньшей мере пять других были «добровольными сотрудниками».

Говоря о сотрудничестве с КГБ, А. Кузнецов выражает надежду, что и Евтушенко «расскажет, в каких условиях ему позволили путешествовать по всему свету и какие отчеты ему на этот счет пришлось писать».

Вскоре агенты КГБ снова дали знать о себе Кузнецову, поселившемуся в Туле. Они расспрашивали его о том, чем заняты Евтушенко, Аксенов, Гладили и другие и что это за люди. А. Кузнецов дал о них лишь благоприятные отзывы. Но кагебисты возразили, что Евтушенко допускает ошибки, что А. Кузнецов недостаточно внимательно за ним наблюдает. Е. Евтушенко следует вызвать на откровенные высказывания, а затем сообщить об этом КГБ. С Кузнецовым стали говорить более резко и прибегать к угрозам.

А. Кузнецов вышел из себя и кагебисты вдруг без возражений удалились. А. Кузнецов надеялся уже было, что его оставят в покое, но, как оказалось, он глубоко ошибался. Его просто перевели из «первой» во «вторую категорию».

Через некоторое время к А. Кузнецову был подослан провокатор, «симпатичный молодой студент». Студент рассказал, что работает в учреждении, где есть документы, являющиеся государственной тайной, а также о том, что он якобы сотрудничал в студенческом подпольном журнале и что его коллеги все арестованы. «Он кричал, сквозь слезы, что он будет выпускать далее этот подпольный журнал один, — рассказывает А. Кузнецов. — Я ему ответил, что это было бы глупо и что этим путем он ничего не добьется».

Затем А. Кузнецова вызвал на свидание один из кагебистов. «Почему вы нам не позвонили? Некто говорит вам о государственных тайнах, дает вам информации о подпольной литературе, а вы просто-напросто возражаете, что собеседник ваш не на правильном пути. Где же, по вашему мнению, правильный путь?..»

«Я теперь еще дрожу, — продолжает Кузнецов, — когда я пишу об этом разговоре, происходившем на скамейке в сквере. Я был прощен и мне позволили удалиться, но я был предупрежден... Я был членом компартии, признанным советским писателем, я хотел лишь одного — писать далее. Но я автоматически подлежал слежке по тому, что я попал во вторую категорию...»

Далее автор рассказывает, что с того времени к нему были приставлены доносчики и наблюдатели, в частности во время его пребывания в Ясной Поляне. Он говорит тоже о добрых, неизвестных ему людях, оказывавших ему всяческую помощь. Раз один незнакомец позвонил ему из автомата на трамвайной остановке. Он точно изложил содержание писем А. Кузнецова к матери и уточнил, какой иностранный журнал имеется у него на дому. Он сказал ему, что все его письма вскрываются, что соседи, живущие по обе стороны и напротив, за ним наблюдают и что его телефонные разговоры регистрируются.

После этого А. Кузнецов стал хранить свои «опасные» рукописи в земле.

«За несколько дней до съезда писателей, на котором я должен был участвовать в качестве делегата от Тулы, Солженицын прислал мне экземпляр своего знаменитого письма, в котором он заклеймил цензуру, — рассказывает А. Кузнецов. — Я это письмо обдумывал в течение нескольких ночей. Мои домашние не могли понять, что со мною происходит. Я им сказал: Солженицын предлагает покончить совместно с ним самоубийством. Да, я не нашел в себе достаточно мужества и, вероятно, вполне заслужил презрение Солженицына. Я просто воздержался от участия в съезде, я не поставил своей подписи

ни под каким протестом ни тогда, ни позднее. Я спасал свою собственную шкуру и оставался в стороне от событий. Других исключили из партии и из Союза писателей и их произведения перестали печатать. Но я продолжал печататься и «товарищи» возобновили свое ко мне доброе и приятельское отношение... Я хорошо сделал, сказали они, не подписав никаких протестов, такое дело не к лицу художнику слова. Но теперь мне следует попытаться повлиять на моих заблудших друзей и дать им понять, что если они не перестанут нарушать порядок, то... ну, вы сами понимаете...»

После того, как ночью 20 августа 1968 г. советские танки вторглись в Чехословакию, многие русские восприняли это как начало поворота к фашизму. «Я понял, что далее оставаться я здесь не могу».

Кузнецов отправляется в Батуми с тем, чтобы там изучить местность. «Мне пришлось тогда в голову проплыть под водой до Турции при помощи водолазного аппарата, толкая перед собой подводный плот, снабженный резервуарами с кислородом... Я натренировался плыть беспрерывно по 15 часов...»

Автор отказывается от выполнения этого отчаянного плана и решает предпринять последнюю попытку получить разрешение на поездку за границу.

КГБ, как и гестапо, любит доносы. А. Кузнецов решил написать «донос». Он намекнул кагебистам, что как будто бы антисоветский заговор замышляется в среде писателей. Это на них произвело впечатление и они поверили. А. Кузнецов сообщил, что писатели замыслили издавать опасный подпольный журнал, под названием «Полярная звезда» или «Искра», но что они все еще спорят о названии. Среди лиц, которые якобы будут в нем участвовать, он назвал Евтушенко, Аксенова, Гладилина, Ефремова, Табакова, Аркадия Райкина и других. В настоящее время, сообщил А. Кузнецов, они заняты сбором денег и рукописей. В первом номере будет напечатан меморандум академика Сахарова.

КГБ перевело А. Кузнецова в первую категорию и выпустило в Англию — для сбора материалов о Ленине. С собой А. Кузнецов привез микропленки своих произведений в их первоначальном, неискаженном виде. Среди них — его донос в КГБ.

«Я рассказал вам только о самом себе, — заканчивает А. Кузнецов. — Но поверьте, имеется много людей, которые могли бы рассказать аналогичную историю...»

Атака КГБ на Анатолия Кузнецова

«Дейли телеграф», 4.10.69

Газета сообщает о том, как даже пожилая мать писателя, проживающая в Киеве, была принуждена властями обратиться к «заблудшему» сыну с призывом вернуться домой. Корреспондент газеты ее навестил. При свидании присутствовали представители агентства «Новости», «специфические связи» коих всякому известны. Однако, либо КГБ плохо подготовило мать писателя к встрече с иностранным журналистом, либо она сама вышла за рамки подготовленного ей властями подстрочника.

«Приведенные госпожой Кузнецовой доводы, согласно которым ее сын «психически расстроен», совпадают с версией, пущенной в ход в Москве неофициальным, но заинтересованным источником».

Но с причинами ухода Кузнецова получилось во время разговора что-то неубедительное: «Его прежняя жена Ирина была очень плохой домохозяйкой. Она постоянно просила денег и не исполняла никаких домашних работ. Этим был вынужден заниматься Анатолий и даже бегать за покупками».

Неужели из-за таких мотивов Кузнецов собирался даже уплыть под водою до берегов Турции? О том, что ожидало бы Кузнецова, в случае возвращения в СССР, мать не нарисовала радужную официальную картину:

«Я спросил о том, не был бы он арестован за антисоветскую деятельность, основанную на тех заявлениях, которые он сделал в Лондоне.

— Я не принадлежу к властям и не могу сказать что с ним случилось бы, — ответила она. Но здесь его родина, и, я думаю, она бы ему простила».

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

...смотрел на него выжидательно — все-таки он «на колесах», а не я, ему везти машину, а не мне, ему рисковать, приезжая в опальный дом. Себя я в расчет не брал, рассуждая, что я все равно под надзором и на Лубянку потащат в очередной раз непременно — теперь из-за побега Кузнецова. (И не ошибся).

— А что? — пожал плечами Скуратовский. — Поехали.

Он тогда был легок на подъем. Гораздо легче, чем сегодня. Но сделаем скидку на 30 лет.

Каплан довольно запыхтел, но уточнил, что по дороге неплохо бы заправиться вином, которое ему в дороге не помешает.

— О чем вопрос? — согласился Алик. — По дороге и заправимся.

Каплан снова заурчал, как кот.

Скуратовский завел свой серый («горбатый») «запорожец» и мы поехали в Тулу.

Ехали сравнительно недолго, хотя всевозможные тревожные мысли не давали покоя. Носили они всем понятный характер: что изъято при обыске? какие комнаты опечатаны? почему опечатаны? можно ли сорвать печать? И тому подобные, которые непременно приходят в подобном состоянии.

Наконец приехали.

Надя была под хмельком.

Она, наверно, со дня отъезда Кузнецова находилась в таком состоянии.

«Дейли телеграф», 7.10.69

Мобилизованной на дело изобличения Кузнецова оказалась и его бывшая молодая секретарша Надя Цуркан. По этому поводу писатель заявил газете: «...Сказанное не соответствует ее мышлению, ее манере выражаться и даже языку. Я даже не уверен, что она видела текст этого интервью после того, как оно было кем-то написано».

Надя Цуркан якобы заявила, в частности, что была в обществе Кузнецова, «когда он закапывал горшки в землю».

Но она утверждает, что он закопал только порнографические журналы, а не рукописи его произведений... Она утверждает также, что ему удалось вывезти с собою только тексты двух коротких повестей и что при нем не было микрофильмов его рукописей.

Отметим со своей стороны, что КГБ окончательно запутался. Рукописи не были закопаны в горшках. Вывезены за границу они тоже не были. Где ж они?.. Очевидно, КГБ жалеет, что не сумел их захватить и надолго скрыть от русского читателя, как это было сделано с частью творений Солженицына!

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

...сведения об обыске и количестве изъятого я аккуратно переписал из отставленной гэбистами копии протокола обыска, что мне показала Надя.

Рукописи? Наверно, старые черновики, решил я, едва ли Толя оставил что-нибудь стоящее. Фотопленки? Наверно, семейные, снимки матери, сына, а магнитофонные ленты — музыка, решил я, не обратив особого внимания на цифры.

Я слишком хорошо помнил его осторожность и потаенность поступков. Он как-то заметил мне:

— А ты не боишься носить записную книжку?

Я в ответ постучал себя по лбу.

— Все нужные телефоны здесь.

— Всех не запомнишь, — уклончиво заметил он.

Я в ответ сказал, что, разумеется, у меня есть две записные книжки: одна со всеми нужными телефонами (хранится дома) и другая, где телефоны редакций, издательств, работы родителей, знакомых девчонок, где я записываю строчки стихов или всплывший из глубин подсознания сюжет...

— Если меня сейчас схватят, — закончил я, — то в моей записной книжке КГБ ничего интересного для себя не найдут. А если придут с обыском, то я всегда успею уничтожить вторую...

Он недоверчиво посмотрел на меня, но что-то для себя решил.

В тексте протокола обыска были неточности, которые мне сразу бросились в глаза.

Ирина Марченко тогда не была женой перебежчика. Они давно состояли в разводе, Ирина жила с Файбышенко, что ни для кого в Туле, да и в Москве не было секретом. Даже мама Кузнецова, когда я привез последний сувенир сына, спросила: «А Ирина совсем не появляется?» Я ответил, что один раз приходила, когда я приезжал. Мать недовольно поджала губы, из чего я заключил, что с невесткой они не ладили.

Но, может, официально Кузнецов не оформил свой развод?

— А что за письма? — спросил я, прочитав про 168 изъятых писем.

— Поздравительные, открытки с Новым годом, ну, от разных писателей, — неопределенно ответила она.

— А конкретно от кого не помнишь?

Она, не задумываясь, выпалила имена и я записал, ни капли не сомневаясь, что все сказанное ею — правда.

Но откуда я мог знать, что Надька фантазирует? Что она выпалила три запомнившиеся ей фамилии иностранных писателей, книги которых Анатолий Васильевич, вероятно, читал в последнее время, или они просто стояли на полках?

«Посев», Примечания ко «Второму специальному выпуску», декабрь 1969

Кузнецов Анатолий. На запрос редакции «Посева» по поводу сообщения «Хроники» в связи с обыском в его квартире, А. Анатолий (Кузнецов) ответил следующее:

«ОТНОСИТЕЛЬНО ОБЫСКА В МОЕЙ КВАРТИРЕ.»

Писем от Яна Прохазки, Алана Силлитоу и Грэма Грина у меня не могло быть, я с ними *не знаком* и никогда не переписывался.

Перед отъездом я все бумаги и письма сжег, оставив лишь небольшую часть, которую зарыл, и если даже это верно — насчет писем Солженицына и крымских татар, то в том случае, что они пришли *после* моего отъезда.

Фотопленок я также *не оставлял*. Магнитофонные ленты — надиктованный текст романа «Огонь», самый обший и первоначальный, который затем в рукописях много раз переделывался и отрабатывался, — так что эти ленты не имеют никакого значения. Гораздо более полный текст «Огня» — опубликован. 1500 листов рукописей — это машинописные копии тех текстов «Бабыего Яра», «Огня», «У себя дома» и некоторых рассказов, которые остались в редакциях, т.е. текстов официальных. Полные и «крамольные» рукописи я вообще в доме никогда не держал, так как тайные обыски у меня делались и раньше. Эти рукописи остались зарытыми, после того, как я их все переснял на пленки, которые увез с собой в Англию. Уезжая, я несколько раз пересмотрел все, что оставалось в квартире, чтобы чего-то не оставить к удовольствию КГБ, трижды вывозил на велосипеде большие мешки и сжигал их за городом, а напоследок сфотографировал квартиру на память, зная, что больше ее не увижу. Так что, я считаю, на этот *обыск* КГБ только время потеряло.

А. Анатолий (Кузнецов)

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

В январе 1989 года мы обнимались с моим близким другом, которого я не видел пятнадцать лет.

Дело происходило в кантине радио «Свобода» в Мюнхене. Дело в том, что друга звали Евгений Кушев и он работал главным редактором тематических программ русской редакции.

Когда обнимания, разглядывания и сравнения с прошлым обликом закончились, он вдруг заявил:

— А мы тебя часто вспоминали, когда я в Англии жил.

— Да?

— Знаешь с кем? Никогда не догадаешься. С Анатолием Кузнецовым.

— Не может быть!

— Может. Он даже признавался, что давал тебе читать свой неопубликованный роман «Тейч файф».

— Точно! Он жив?

— Нет, умер. Десять лет назад.

— КГБ? — я вспомнил разговоры в московских компаниях, что «Кузнецова вышвырнули из фуникулера... Кузнецову устроили автокатастрофу...»

— Инфаркт. Но не первый.

И Кушев стал рассказывать, какой тяжелой жизнью жил Анатолий Кузнецов в Англии, что для заработка работал ... машинисткой (если можно так назвать!) — перепечатывал чужие рукописи;

что после того, как издал в полном виде роман «Бабий Яр» (без цензурных вымарок), он сделал анализ привезенных с собой рукописей и поставил сам себе и своему творчеству беспощадный диагноз —

все его произведения вторичны, являются перепевами чужого, а роман «Тейч файф» похож на «1884» Оруэлла (Кузнецов не знал этого произведения, но тем страшнее оказалось знакомство — он изобретал велосипед...)

Он увидел насколько он отстал от мировой литературы. Железный занавес ударил писателя в самое чувствительное место — отсутствие информации.

Я это понял в первый же день пребывания в Германии.

Увидев полки, манящие к себе именами, о которых только слышал, но не читал! не знал! не изучал с карандашом! — я понял, что в один момент мне этого не одолеть.

И я понял, что мой собственный разрыв в литературном образовании надо начинать с периодики. Я взял журналы, которые на них стояли. Я взял комплект «Континента» (№№ 1-58), комплект «Грани» (№№ 59-150), комплект «Время и мы» (№№ 28-99), комплект «22» (№№ 31-60) и три месяца читал.

Я читал, записывал, делал ксерокопии.

Наверно, Кузнецов шел аналогичным путем. Это заметно по некоторым его поздним статьям — появился новый литературный багаж.

Кузнецов писал для радио «Свобода», вел рубрику, собирал материалы, написал публицистическую книгу «Совесть» (не закончена). Но все это были подступы. Было видно, что писатель готовится к прыжку. Куда? Мне сегодня кажется, что в иное, в новое для себя литературное качество.

Какое оно будет?

Никто из нас сегодня не ответит на этот вопрос.

Анатолий КУЗНЕЦОВ. БАБИЙ ЯР

К читателям

Первоначальную рукопись этой книги я принес в журнал «Юность» в 1965 году. Мне ее немедленно — можно сказать, в ужасе — вернули и посоветовали никому не показывать, пока не уберу «антисоветчину», которую поотмечали в тексте.

Я убрал важные куски из глав о Крещатике, о взрыве Лавры, о катастрофе 1961 года и другие — и официально представил смягченный вариант, в котором смысл книги был затушеван, но все же угадывался.

Тогда в СССР было еще свежо хрущевское «разоблачение культа личности Сталина», многим казалось, что начинается серьезная либерализация, опубликование «Одного дня Ивана Денисовича» А. Солженицына вселяло надежду, что, может, наконец, возможна настоящая литература.

Но смягченный вариант моего «Бабьего Яра» опять озадачил редакторов. Рукопись была нарасхват, все читали, восторженно отзывались в личном разговоре, а официально выдвигали убийственную критику, и редакция не отваживалась на публикацию без специального позволения. На советском языке это именуется «Вы должны посоветоваться с вышестоящими товарищами».

Рукопись пошла по инстанциям — вплоть до ЦК КПСС, где ее прочел (но без ряда глав), как мне сказали, Сус-

лов, и он в общем разрешил. Решающим для «вышестоящих товарищей» оказался ловкий аргумент редакции что моя книга якобы опровергает известное стихотворение Евтушенко о Бабьем Яре, вызвавшее в свое время большой скандал и шум.

Нет, конечно, я это великолепное стихотворение не опровергал. Более того, Евтушенко, с которым мы дружили и учились в одном институте, задумал свое стихотворение в день, когда мы вместе однажды пошли к Бабьему Яру. Мы стояли над крутым обрывом, я рассказывал, откуда и как гнали людей, как потом ручей вымывал кости, как шла борьба за памятник, которого так и нет. «Над Бабьим Яром памятника нет...» — задумчиво сказал Евтушенко, и потом я узнал эту первую строчку в его стихотворении. Я не противопоставлял ему свою книгу, просто размер романа позволял рассказать о Бабьем Яре куда больше и во всех его аспектах.

В некоторых зарубежных изданиях к моему роману вместо предисловия ставили стихотворение Евтушенко, что лучше всего говорит само за себя.

Так или иначе публикация была разрешена, но поскольку в ЦК читали без ряда глав, следовало в первую очередь эти главы убрать. Затем главный редактор «Юности» Борис Полевой, ответственный секретарь Леопольд Железнов и еще много других людей сделали столько купюр, изменений, пометок, что порой за их разноцветными исправлениями не видно было текста.

С огромным трудом удалось сохранить название, его категорически требовали изменить («Чтобы не вызывало воспоминаний о стихотворении Евтушенко»), но тщательно убрали все критические упоминания о Сталине («Есть такое мнение, что сейчас не время»), вообще малейшую критику чего-нибудь советского («Роман антифашистский, критикуйте только гитлеровский режим»).

Доходило буквально до анекдота. В начале романа есть фраза, что у немцев орудия тянули огромные рыжие кони-тяжеловозы, перед которыми лошададки, на которых отступала Красная Армия, показались бы жеребятами. Фразу немедленно вычеркнули. Я доказывал, что в конце книги описываю, как немцы отступают на наших малорослых лошадачках, ибо их рыжие тяжеловозы передохли, не выдержав. На это Б. Полевой возражал «Пока читатель дочитает, он забудет начало, а в памяти у него останется лишь, что у немцев лошади были лучше, чем у нас». После отчаянных споров и всеобщих обсуждений фразу оставили в смягченном виде, но это было едва ли не единственное исключение.

О брошенном подбитом танке я, например, писал «Прекрасной игрушкой для деревенских детей был этот танк». Вычеркнули, изрисовав поля знаками вопроса и ругательствами оказывается, в этой фразе заключена страшная крамола - пацифизм. «Мы не бесхребетные пацифисты, мы не можем воспитывать у молодежи подобные настроения и неуважение к танкам».

Или я отважился высмеять негодные воинские повозки, которые, «храни Бог войны, ездить не годятся» — это уже вычеркивалось, как прямая антисоветчина, с какой-то патологической ненавистью. И что-то доказать, отстоять хоть единое слово — невозможно. Само собой разумеется, что такие главы, как «Людоеды» ли «Горели книги» перечеркивали одним взмахом, и о них даже речи не могло быть. В романе есть три главы под одинаковым названием «Горели книги» — сперва книги горят в 1937 году во время сталинских чисток, затем они горят в 1942 году при немцах, и наконец в 1946 году после вытупления Жданова. Была оставлена только средняя глава, как книги горят при немцах.

Я спорил отчаянно, доказывал, что критически описывал злоупотребления культа личности, которые ведь осуждены. Мне возражали так «Партия осудила достаточно. И нечего дальше об этом писать». А когда уж не было аргумента, то, при плотно закрытых дверях, многозначительно говорили мне «Они нам этого не пропускают, понятно?»

«Кто они? — спрашивал я. — Дайте мне с ними поговорить, вдруг сумею их убедить». Но существует правило никогда, ни при каких обстоятельствах не допускать контакта автора с профессиональным цензором. И сколько я ни пытался, так ни разу не смог увидеть таинственных «их» и не знаю их имен.

До неузнаваемости переделывались и все мои прежние работы, как и писателей, с которыми я был знаком. Мы старались читать произведения друг друга в рукописях, а не напечатанными, потому что разница — огромная.

Перед писателем в СССР эта дилемма стоит всегда либо вообще не печататься, либо печататься хотя бы то, что цензура позволила. Многие считают, что лучше донести до читателя хоть что-нибудь, чем ничего.

Я тоже так считал. Была у меня переписка с Солженицыным на эту тему, я рассказывал, как меня уродует цензура и как всякий раз, несмотря на отчаянное мое сопротивление, добывается своего, так что в свет выходят книги-уроды, которые мне самому становятся ненавистны. Он писал, что на разумные уступки цензуре идти можно и приходится, но — до известного предела, очевидно.

Когда я увидел, что из «Бабьего Яра» выбрасывается четверть особо важного текста, в смысл романа из-за

этого переворачивается с ног на голову, я заявил, что в таком случае печатать отказываюсь — и потребовал рукопись обратно.

Вот тут случилось нечто, уж совсем неожиданное.

Рукопись не отдавали. Словно бы я уже не был хозяином ее. Помните заявления Солженицына, что он не имеет никакого контроля над своими рукописями? Так вот, отдав рукопись редакторам, я не мог получить ее обратно. Дошло до дикой сцены в кабинете Б. Полевого, где собралось все начальство редакции, я требовал рукопись, я совсем ошалел, кричал: «Это же моя работа, моя рукопись, моя бумага наконец! Отдайте, я не желаю печатать!»

А Полевой цинично, издеваясь, говорил: «Печатать или не печатать — не вам решать. И рукопись вам никто не отдаст, и напечатаем, как считаем нужным».

Потом мне объяснили, что это не было самодурством или случайностью. В моем случае рукопись получила «добро» из самого ЦК, и теперь ее уже и не публиковать было нельзя. А осуди ее ЦК, опять-таки она нужна — для рассмотрения «в другом месте». Но я тогда, в кабинете Полевого, не помня себя, кинулся в драку, выхватил рукопись, выбежал на улицу Воровского, рвал, набивал клочками мусорные урны вплоть до самой Арбатской площади, проклиная день, когда начал писать.

Позже выяснилось, что в «Юности» остался другой экземпляр, а может и несколько, включая те, что перепечатывали для ЦК. Редакция позвонила мне домой и сообщила, что вся правка уже проделана, новый текст заново перепечатан, а мне лучше не смотреть, чтобы не портить нервы. Идя навстречу, Б. Полевой согласен проставить на первой странице «Роман печатается в сокращении». На это я написал письмо, что подам в суд. Но, подумав, понял, что суд найдет способ, как отказать мне, и при этом все будут говорить: «Что вам надо, ведь редакция сама заявляет, что публикует роман в сокращении».

Последнее как-то убеждало и меня, опять исходя из принципа «хоть что-нибудь». И может, люди, увидев сноску, начекаются, будут искать смысл между строк...

Переделанная без меня рукопись пошла в набор, прислали мне гранки, начал их читать, и у меня потемнело в глазах, точно помню, в прямом смысле.

Я еще не знал, что и это не все. Потом еще из гранок продолжали вырезать да переверстывать, что я обнаружил, лишь уже когда купил в киоске журнал.

И внизу была едва заметная, ничего не говорящая сноска «Журнальный вариант» вместо обещанной «Печатается в сокращении»...

К тому времени у меня был договор на издание романа отдельной книгой — с издательством «Молодая гвар-

дия». Оставалась еще надежда что-нибудь восстановить должна же «полная» книга чем-то отличаться от журнального варианта.

Сразу выяснилось, что издательство и слышать не хочет о добавлениях, наоборот, требует еще новых сокращений. Здесь началась история, возможная только в Советском Союзе.

Журнал «Юность» поступил за границу. И сразу во многих странах роман принялись переводить. Мне посыпались недоуменные письма переводчиков они не понимали многих мест.

Например, цензура досокращалась до того, что в главе «Профессия — поджигатели» не осталось поджигателей, ни намек, даже слова такого нет, а оставлено лишь несколько абзацев о том, как герой читает Пушкина.

Или вырезан парень с гармошкой, среди всеобщего отступления отрешенно играющий полечку, — но повторное упоминание о нем по недосмотру осталось, и оно совершенно непонятно без первого. Ругань деда Семерика в адрес советской власти, когда он называет ее порядки «кракамедией», вырезана, — и в другом месте непонятно, о каких «кракамедиях» дед снова говорит. И так далее.

Но, главное, переводчики запрашивали полный текст в отличие от журнального варианта, наивно принимая сноску «Юности» в прямом смысле и всерьез. Они посылали запросы официально через «Международную книгу». Ни я, ни «Международная книга» не знали, что им отвечать.

Наконец, где-то на верхах было решено снова обратиться к рукописи. С трудом удалось отобрать страниц 30 машинописного текста, которые вне контекста выглядели безобидно, и после великих трудностей, с поддержкой Иностранной комиссии Союза писателей, «Международная книга» исхлопотала штампы цензуры на каждой из страниц исключительно для доказательства иностранцам, что полный текст есть.

Но пока эти страницы кочевали по инстанциям со всей их бюрократией, заграничные переводы повыходили, и страницы со штампами цензуры опоздали.

Тогда я отнес их в «Молодую гвардию», это были главы «Профессия — поджигатели», «Осколки империи», «Миллион рублей» (но опять-таки сильно урезанные), несколько кусочков к другим главам. В издательстве долго не хотели их вставлять. Я доказывал: «Это разрешено даже для заграничных», мне возражали: «Для заграничных может быть разрешено, но это еще не значит, что разрешено для СССР». Потом решились вставить, но при условии, что и я смягчу в других местах и допишу идейно-выдержанные абзацы «для равновесия», содержание которых мне редакторы буквально диктовали, чтобы спасти книгу в це-

лом, я дописывал. Иногда читаешь хорошую книгу советского писателя — и вдруг натыкаешься на места, такие безвкусные, «идейные», что плюнуть хочется. Автор их дописывал, отлично зная, что они вызовут только недоумение и презрение читателя, но далеко не все читатели знают, что только такой ценой могло выйти в свет произведение. Особенно ярко это проявляется в книгах стихов. Они должны открываться стихами дежурно-идейными, которыми автор зарабатывает право поместить дальше уже и подлинную поэзию. Поэтому многие читатели начинают читать сборники стихов с конца, т.е. с лучшего.

Воевать за каждую фразу, торговаться, дописывать идейшину мне приходилось всегда. В СССР, с его иезуитским издательским делом, все запутано, сложно, любая книга обрастает наслоениями и зияет цензурными дырами. Издашь в журнале сколько сумеешь, потом в отдельной книге потихоньку что — то добавишь, а при переиздании еще чуточку, но вдруг меняется ситуация, и то, что легко проходило прежде, сегодня уже — страшная крамола, и наоборот.

И рукописи у меня существовали как минимум в двух вариантах главный — только для себя, глубоко запрятанный, для печати же предлагается смягченный.

«Ситуация» изменилась в СССР как раз во время выхода «Бабьего Яра» отдельной книгой. Компетентные люди мне говорили, что с книгой мне повезло, еще месяцем другой, и она бы не вышла. Книга вдруг вызвала гнев в ЦК ВЛКСМ, затем в ЦК КПСС, публикация «Бабьего Яра» вообще была признана ошибкой, переиздание запрещено, в библиотеках книгу перестали выдавать — началась новая волна государственного антисемитизма.

У меня, однако, оставалась главная рукопись. Я продолжал над ней работать, уже, так сказать, «для себя и для истины». Вставил обратно переработанные и улучшенные куски к Крещатику, Лавре, катастрофе, добавлял новые факты, причем теперь уже о цензуре не думал, и рукопись стала такой, что я ее дома не хранил. У меня во время отъездов делались обыски, а однажды неизвестно кем был подожжен и сгорел мой кабинет. Важнейшие рукописи были у меня пересняты на пленки, которые в железной коробке были зарыты недалеко от дома, а сами рукописи я зарыл в стеклянных банках в лесу под Тулой, где они, надеюсь, лежат и сейчас.

Летом 1969 года я бежал из СССР, взяв с собой пленки, в том числе и пленку с полным «Бабьим Яром». Вот его выпускаю, как первую свою книгу без всякой политической цензуры, — и прошу только данный текст «Бабьего Яра» считать действительным.

Здесь сведено воедино и опубликованное, и выброшенное цензурой, и писавшееся после публикации, вклю-

чая окончательную стилистическую шлифовку. Это, наконец, действительно то, что я написал. Но главные различия я решил сохранить, и вот зачем.

Для тех, кто этим интересуется, они могут дать представление об условиях, в каких выпускаются книги в СССР. Еще раз подчеркиваю мой пример не исключение, наоборот, он самый рядовой и типичный. Читая книгу советского автора, всегда делайте поправку на цензуру, мысль ищите между строк.

Далее, изуродованный цензурой текст «Бабьего Яра» печатался миллионами экземпляров. Людям, которые его читали, а хотели бы знать полный текст, достаточно будет прочесть в этом издании лишь то новое, что публикуется впервые. Тем более, что в выделенных текстах заключается главный смысл книги, ради которого она вообще написана.

Должен сказать, что выделить тексты было не так просто. Засчитывать ли, как выброшенное цензурой, то, что я сам сократил после того, как мне вернули первую рукопись с отмеченной «антисоветчиной» и советом никому не показывать? Нет, очевидно. Это была самоцензура, вынужденная, но самоцензура.

Потом я эти куски и переработал, и восстановил, но это уже мое дело, а подлинная цензура их не видела.

**РАЗЛИЧИЯ В НАСТОЯЩЕМ ИЗДАНИИ СДЕЛАНЫ ТАК:
ОБЫКНОВЕННЫЙ ШРИФТ — ЭТО ВЫЛО ОПУБЛИКОВА-
НО ЖУРНАЛОМ «ЮНОСТЬ» В 1966 Г.**

**КУРСИВ — БЫЛО ВЫРЕЗАНО ЦЕНЗУРОЙ ТОГДА ЖЕ.
ВЗЯТОЕ В СКОБКИ — ДОПОЛНЕНИЯ, СДЕЛАННЫЕ В
1967-69 ГГ.**

Автор
Лондон, 1970 г.